

Лев Николаевич

Толстой

Три смерти

(1858–1859 гг.)

Государственное издательство

«Художественная литература»

Москва – 1935

Электронное издание осуществлено

в рамках краудсорсингового проекта

«Весь Толстой в один клик»

Организаторы:

Государственный музей Л. Н. Толстого

Музей–усадьба «Ясная Поляна»

Компания АBBYУ

Подготовлено на основе электронной копии 5–го тома

Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной

Российской государственной библиотекой

Электронное издание

90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого

доступно на портале

www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 5-му тому Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого можно прочитать в настоящем издании

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам

report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928–1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и координации Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYU, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYU FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры тома и отдельные произведения публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая

Перепечатка разрешается безвозмездно

Reproduction libre pour tous les pays.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

1860 г.

Размер подлинника

ТРИ СМЕРТИ.

Рассказ.

I.

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая – горничная, глянцево-румяная и полная. Короткие сухие волосы выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякивания стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренне покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напмаженные волосы, и

было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и беспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздражение и привычное страдание.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ящик, покрякивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ящика, покрякивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

– Опять, – сказала она, нервически отталкивая красивой худошавой рукой конец салоп горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, – и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и всё лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии. «Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь!» Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

– Что это? – спросила госпожа.

– Станция, сударыня.

– Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

– Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

– Как вы себя чувствуете? – спросил доктор, щупая пульс.

– Ну, как ты, мой друг, не устала? – спросил муж по-французски, – не

хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

– Ничего, то же самое, – отвечала больная. – Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом, Матреша, выскочив из кареты, на ципочках побежала по грязи в ворота.

– Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, – слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет, – прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. – Им хорошо, так и всё равно. О! Боже мой!»

– Ну что, Эдуард Иванович, – сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки, – я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

– Можно, – отвечал доктор.

– Ну, что она? – со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

– Я говорил, она не может доехать не только до Италии, до Москвы дай Бог. Особенно по этой дороге.

– Так что ж делать? Ах, Боже мой! Боже мой! – Муж закрыл глаза рукою. – Подай сюда, – прибавил он человеку, вносившему погребец.

– Оставаться надо было, – пожав плечами, отвечал доктор.

– Да скажите, что же я мог сделать? – возразил муж, – ведь я употребил всё, чтобы удержать ее; я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах, – она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении, ведь это значило бы убить ее.

– Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

– Ах, Боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

– Всё–таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, – сказал доктор, значительно покачивая головой, – а то дорогой может быть худо...

– Аксюша, а Аксюша! – визжала смотрительская дочь, накинув на голову

кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце, – пойдём, Ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда ещё не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

– Мм–а–тушки! – сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. – Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видала, видала, Аксюша?

– Да, какая худая! – поддакивала Аксюша. – Пойдём ещё посмотрим, будто к колодцу. Вишь отвернулась, а я ещё видала. Как жалко, Маша.

– Да и грязь же какая! – отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно я страшна стала, – думала больная. – Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь.»

– Что, как ты, мой друг? – сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Всё один и тот же вопрос, – подумала больная, – а сам ест!»

– Ничего, – пропустила она сквозь зубы.

– Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

– Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

– Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

– Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась, я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

– Дети здоровы, а я нет.

– Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда, по крайней мере, дома.

– Что ж что дома?.... Умереть дома? – вспльчиво отвечала больная. Но слово умереть, видимо, испугало её, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из её глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

– Нет, я поеду, – сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова. – Боже мой! за что же? – говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а всё так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

II.

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи, в овчинах лежал больной.

– Дядя Хведор! а дядя Хведор, – сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

– Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? – отозвался один из ямщиков: – вишь, тебя в карету ждут.

– Хочу сапог попросить; свои избил, – отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом. – Аль спит? А дядя Хведор? – повторил он, подходя к печи.

– Чаво? – послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе. – Дай испить, брат, ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

– Да что, Федя, – сказал он, переминаясь, – тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцовитому ковшу и мокая редкие, отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, собираясь с силами.

– Може ты кому пообещал уже, – сказал парень, – так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать; я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

– Уж где надобны, – неожиданно сердито, на всю избу затрещала кухарка, – второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости Господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевести его что ль в избу в другую или куда! Такие больницы, слышь, в городе есть; а то разве дело, занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже чистоту спрашивают.

– Эй, Серега! иди, садись, господа ждут, – крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

– Ты сапоги возьми, Серега, – сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. – Только, слышь, камень купи, как помру, – хрипя прибавил он.

– Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

– Вот ребята, слышали, – мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

– Ладно, слышали, – сказал один из ямщиков. – Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня вишь Ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

– Эк сапоги важные! дай помажу, – сказал ямщик с помазкою в руке в то время, как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. – Даром отдал?

– Аль завидно, – отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка. – Пущай! Эх вы, любезные! – крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатались по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали, – больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

– Ты на меня не серчай, Настасья, – проговорил больной, – скоро опростаю угол-то твой.

- Ладно, ладно, что ж, ничаво, – пробормотала Настасья.
- Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.
- Нутро всё изныло. Бог его знает что.
- Небось, и глотка болит, как кашляешь?
- Везде больно. Смерть моя пришла – вот что. Ох, ох, ох! – простонал больной.
- Ты ноги-то укрой вот так, – сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек 10 ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

– Чудно́ что-то я нынче во сне видела, – говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю – куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. – Уже не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликнулся.

– И то не помер ли? Пойти посмотреть, – сказал один из проснувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

– Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, – сказал ямщик.

Родных у Федора не было – он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который он видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III.

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были яркие. В садиках за заборами пухнули почки деревьев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на

своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, всё двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в эпитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка – мать больной – и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

– Ну, Христос с вами, мой друг, – говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери, – она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же. – Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

– Вот теперь, кажется, я не заплакана, – сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью борода тоже поднялась кверху и опустилась.

– Боже мой! Боже мой! – сказал муж.

– Что делать? – вздыхая сказал священник, и снова брови и борода его поднялись кверху и опустились.

– И матушка тут! – почти с отчаяньем сказал муж. – Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

– Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, – сказал он, – однако Бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало всё подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

– Бог милосерд, – продолжал священник, когда она успокоилась немного. – Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу – можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для Бога всё возможно.

– Нет, уже ей не жить, – проговорила старушка: – чем бы меня, а ее Бог берет. – И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

– Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? – спросила няня.

– Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подпрыгнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

– Это она будто бы ворона, папаша! – прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

– Ах, мой друг, – сказала она, неожиданно перебивая ее, – не приговаривайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я всё знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, даже наверно, была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно Богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость Бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страдания...

– Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись, – сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласия.

– Боже! прости меня грешную, – прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

– Это ангел! – сказала она мужу с слезами на глазах. Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка всё еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Через пять минут священник вышел из двери и, сняв эпитрахиль, оправил волосы.

– Слава Богу, она спокойнее теперь, – сказал он, – желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

– Поздравляю тебя, мой друг, – сказал муж.

– Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю, – говорила больная, – и легкая улыбка играла на ее тонких губах. – Как Бог милостив! Не правда ли, Он милостив и всемогущ? – И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

– Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, – сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

– Что, мой друг?

– Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

– За кем, мой друг?

– Боже мой! ничего не хочет понимать!.. – И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

– Не плачь, не мучь себя и меня, – говорила больная, – это отнимает у меня последнее спокойствие.

– Ты ангел! – сказала кузина, целуя ее руку.

– Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо Твое – смущаются, – гласил псалтырь, – возьмешь от них дух – умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой –

созидаются и обновляют лицо земли. Да будет Господу слава во веки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV.

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика всё еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

– А грех тебе будет, Серега, – говорила раз кухарка на станции, – коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить; не купишь, еще раз придет, душить станет.

– Да что, я разве отрекаюсь, – отвечал Серега, – я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

– Ты бы хошь крест поставил, вот что, – отозвался старый ямщик, – а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

– Где его возьмешь крест-то? из полена не вытешешь?

– Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то поди еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно ясел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск слышался из-за ударов. Дерево

вздрагнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение всё затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки, спеша, разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых деревьев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

ВАРИАНТЫ ИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ

ТРИ СМЕРТИ.

* № 1

Федька был болен 3-й месяц, – нутренность, как он говорил. В чем состояла эта болѣзнь, не знали ни его брат, ни племянник, ни фельшер, которому показывали больного, ни сама больная. Впрочем больная и не желала знать этого. Он знал и говорил, что смерть его пришла и ничего больше. <Недавно еще он был мужиком сильный, веселый, ѣздил на курьерских, пѣвал пѣсни и любил выпить. Теперь второй месяц он не слѣзал с печи, изрѣдка стонал, просил испить и твердил несвязные молитвы.> – Третьего дня его причащали.

* № 2

Муж сидѣлъ одинъ въ своей комнатѣ и молчалъ, кузина сидѣла подлѣ него и молчала. Они искали и не находили, что бы сказать другъ другу, а чувствовали потребность сказать что нибудь. Одна свѣчка горѣла.

– Извините меня, мой другъ, – сказала кузина, – когда она еще была здорова (кузина вздохнула, мужъ тоже: онъ началъ обдумывать новый образъ жизни безъ жены, и ему помѣшали), вамъ тяжело, но что жъ дѣлать? Она говорила, что желала бы покоиться съ матерью въ Щербинкахъ. Не отвезете ли вы ее, исполните ея послѣднее желанье. Расходы, разумѣется, не остановятъ васъ въ такомъ важномъ дѣлѣ.

– Отчего она сказала: послѣднее желанье, когда сама говорить, что давнишнее, и, вѣрно, сама выдумала, – подумалъ мужъ. – Расходы однако будутъ не очень большіе, рублей 200, – еще подумалъ онъ.

– Ахъ мой другъ, я счастливъ сдѣлать все, что могу, для ея памяти, – сказалъ онъ, – только, право, я не могу самъ ничѣмъ этимъ распорядиться. Я такъ разстроень.

– Ахъ, это понятно, мой другъ.

* № 3

Надъ могилой госпожи стоитъ кирпичная часовня, и священникъ въ ризѣ кадитъ тамъ и поетъ тамъ вѣчную память раби Бож[ьей]. Надъ могилой дяди Хведора растетъ густая трава изъ-подъ камня и, кажется, хотѣла сдвинуть. Такая же трава растетъ около часовни, и та, и другая каждый годъ засыхаетъ, засыпается снѣгомъ и обновляется, каждый день всходитъ солнце и свѣтитъ <на могилу> и на часовню, и на камень дяди Хведора. И никто не знаетъ, что сдѣлалось съ Ширкин[ской] госпожой и съ д[ядей] Ѳ[едоромъ]. <Одинъ разъ жена дяди Хведора пришла съѣсть лепешку на его могилѣ, и лепешка была вкусна, и крохи падали на густую темно зеленую росистую траву, и солнце свѣтило ярко, и колоколь гудѣлъ громко, и народъ шель изъ церкви весело, и Богъ [не] нарадовался, глядя на мѣръ свой, а подъ землей Богъ знаетъ что оставалось отъ дяди Хведора>.1

ТРИ СМЕРТИ.

15 января 1858 г. Толстой выехал из Москвы вместе с гр. Александрой Андреевной Толстой. Проводив ее до Клина, он поехал в имение кж. Варвары Александровны Волконской, двоюродной сестры его матери.

Здесь, того же 15 января Толстой записывает в Дневнике: «Хорошо начал писать Смерть», – так первоначально назывался рассказ «Три смерти». Работа продолжалась 16 января. На следующий день она была прервана охотой, а 18 вечером Толстой «немного поправил» начатый рассказ.

19 января Толстой вернулся в Москву и прочел написанное брату Николаю Николаевичу. «Совет[ует] дерево оставить», – записывает Толстой в Дневнике в тот же день.

Мы полагаем, что Толстой читал брату именно единственную дошедшую до нас рукопись «Трех смертей» в ее первоначальном виде, и что совет брата относился лишь к замыслу ввести в рассказ «смерть» дерева. Этот замысел был аннотирован в третьей части рассказа соответствующей вставкой между строк (см. описание рукописи), развитой, конечно, устно после прочтения рассказа в первоначальном виде. «Смерть» дерева была, по нашему мнению, написана уже в Москве. За это говорит разница в чернилах, которыми написана последняя часть рассказа и текст предшествующих частей, а также заметка Дневника под 20 января: «Встал рано. Думал, передумывал 3 смерти и написал «Дерево». Не вышло сразу».

21 января Толстой «думал и переписывал «дерево», т. е. всё ту же заключительную часть рассказа. 23 января он работал всё утро, «дописывал после обеда и прочел тетиньке с слезами». Под 24 января отмечен конец работы над рассказом. «Докончил Три смерти».

Во время пребывания в Петербурге, между 12 и 17 марта, Толстой с удовольствием встретился с А. В. Дружининым, редактором «Библиотеки для чтения», где впоследствии были напечатаны «Три смерти». «Видел Дружи[нина], его середу, все ничего. Д[ружинин] мил», – записано в Дневнике 12 марта.

Весьма вероятно, что при встрече с Дружининым был разговор о законченной Толстым вещи, и что он обещал ее в журнал Дружинина, но отдана ли была рукопись рассказа в это именно время, – сказать утвердительно нельзя за отсутствием данных.

Во время этого же посещения Петербурга Толстой, несомненно, беседовал о рассказе «Три смерти» с Л. А. Толстой. Мы полагаем, что во второй половине марта, только что вернувшись из Петербурга, именно об этой «вещице» писал Толстой своему другу, обещая прислать

ее «на днях», как только она будет переписана.² Быть может, в это же время рассказ переписывался и для журнала.

Отметим, что А. А. Толстая читала «Три смерти» задолго до появления рассказа в печати и высказала о нем свое мнение автору. Каково оно было, а также каково было мнение самого Толстого, мы узнаем из письма его от 1 мая 1858 г.³

По мнению Л. Н. Толстого, его корреспондентка напрасно смотрит на рассказ с христианской точки зрения.

«Моя мысль, – продолжает он, – была: три существа умерли – барыня, мужик и дерево. – Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а всё существо ее становится на дыбы, и другаго успокоенья (кроме ложно-христианского) нету, – а место занято. Она гадка и жалка. Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю и исполнял христианские обряды; его религия – природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. «Une brute»,⁴ вы говорите, да чем же дурно une brute? Une brute есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво, – потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. – Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны, но которую оспаривать нельзя, – это есть и в моей душе, и в вашей. Что выражена эта мысль скверно, в этом я с вами согласен. Иначе бы вы с вашим тонким чувством поняли бы, и я бы не писал этого объяснения, которое еще, боюсь, рассердит вас и заставит махнуть на меня рукой».

«Три смерти» были напечатаны в № 1 «Библиотеки для чтения» 1859 г. за подписью: «Граф Л. Толстой». Этот журнальный текст взят и для настоящего издания, с одним исправлением. Вместо «Ширкинская больная» (стр. 58, строки 3–4 сн.) в «Б. для Чт.» стоит «Шаркинская больная». Берем первое написание, употребленное один раз выше и подтверждаемое рукописью.

Автограф рассказа «Три смерти» хранится в Толстовском кабинете Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина (П. VI) и заключает 12 лл., в виде согнутых пополам полулистов сероватой писчей бумаги. Первые 3 полулиста (6 лл. рукописи) вложены друг в друга. На лл. 1, 3, 5, 7, 9 и 11 – клеймо, слабо оттиснутое и неразборчивое, но позволяющее утверждать, что бумага русская. На л. 1 карандашная надпись неизвестной рукой: Три смерти. На лл. 2 и 3 – то же заглавие, но сделанное чернилами и рукой С. А. Толстой. Лл. 1 об., 2 об., 3 об., 11 и 12 – чистые. Л. 10, кончая тремя с небольшим строками оборота, занят перечеркнутым отрывком из «Казачков» (Начало: «Ты думаешь, что нынче это казаки». Конец: «Безъ его приказа бывало за звѣрьем и не ходи»). Небольшие поля слева. Авторской пагинации нет. Чернила черные, слегка выцветшие, за исключением указанного ниже места. На

полях л. 3 сделан чернилами набросок женской головы.

Рассказ сохранился в рукописи не целиком. Он обрывается на словах: «Но и лучи свѣтлѣ еще счастливѣ освѣтили молодья и сосѣднїя деревьяб вѣтеръ еще». Не хватает, видимо, немногих заключительных слов.

Обозначения глав нет, а для расчленения рассказа на части служат строки многоточий.

Первое разделительное многоточие перед словами: «Карета была заложена, но ящикъ мѣшкаль». Второе – перед словами: «Въ городѣ, въ большомъ домѣ, у дверей комнаты больной, стоялъ мужъ и пожилая женщина». Третье – перед словами: «Пришла весна, пронесло рѣки и смыло снѣгъ со всего лица земли, и съ могилы Федора, и съ часовни барыни». В середине первого разделительного многоточия поставлена карандашом, неизвестной рукой и очень бледно, римская цифра II.

Значительное число поправок, зачеркиваний, вставок над зачеркнутым и между строками, иногда имеющих характер аннотаций или конспекта дальнейших добавлений.

Считаем необходимым отметить следующие из таких мест.

На л. 7 об., между последней строкой второй части рассказа, с крестиком справа, как будто указывающим на вставку, и строкой разделительного многоточия вписано: «Ящикъ остался. О чемъ онъ думаль, Богъ его знаетъ перебираль [?] [1 неразобр.]» На л. 8, в третьей части рассказа, против места, начинающегося со слов: «Больная встрѣтила ее свѣтлымъ взглядомъ» и кончающегося словами: «изъ залы съ крикомъ вбѣжала дѣвочка», написано на полях, вдоль, в две строки:

«Слишкомъ высоко христїанке [?]

Я прощаю мужу, онъ сдѣлалъ то-то и то-то».

Первая фраза написана бледно-черными чернилами, резко отличающимися от чернил основного текста. Между фразами проведена черта, быть может, отчеркивающая нужное место текста или, что тоже возможно, подчеркивающая первую фразу. На л. 8 об., в той же части рассказа, после слов: «На другой день больная уже была тѣло», вписано между строк: «Мужикъ въ полѣ рубиль дерево и т. д.» Чернила этой междустрочной вставки такие же, какими написана четвертая и последняя часть рассказа, – середина л. 9 об. и л. 10 об., после конца отрывка из «Казакв».

Четыре части, на которые делится рассказ в рукописи, в общем соответствуют по содержанию четырем главам печатного текста. Но есть

и различия, обусловленные между прочим тем, что первоначально рассказ был задуман без «смерти» дерева и в трех главах.

Первая часть рукописного текста очень близка к первой главе печатного, но заканчивается словами: «Слезы лились сильнѣе». Дальнейший текст (со слов: «Она долго и горячо молилась») в рукописи отсутствует.

Вторая часть имеет некоторые существенные отличия от второй главы печатного текста. После упоминания о лежащем на печи больном идет отсутствующий в печатном тексте рассказ о прошлом Федора и его болезни (см. вариант № 1). Конца главы, после отъезда кареты с господами, в рукописи нет. Глава заканчивается аннотацией–конспектом, указанным в описании рукописи.

Третья часть начинается прямо с того, что происходит перед комнатой больной, а описания весны, начинающего третью главу печатного текста, нет. Отсутствует эпизодическая фигура матери. После слов: «На другой день больная уже была тѣло» идет сцена между мужем и кузиной, выпущенная в окончательной редакции рассказа (см. вариант № 2). После этого в рукописи картина покойницы–барыни в гробу, чтение над ней псалтыря дьячком, а непосредственно за этим – текст, очень близкий к концу второй главы в печатном виде (разговор Федора с Настасьей, ее рассказ о виденном сне и т. д.). Эти сцены, в барском доме и на станции, Толстой имел в виду переставить при окончательной отделке рассказа: они оскоблены на полях, и перед скобками стоят цифры 1 и 2. Конец третьей части в рукописи (см. вариант № 3) является несомненно заключительными строками рассказа в его первоначальном виде, до введения в него «смерти» дерева.

В четвертой части рукописного текста нет разговора Сереги с Настасьей, начинающего четвертую главу в печатной редакции рассказа. Вся часть занята исключительно описанием весны и рубки дерева, причем обе картины в деталях разнятся от печатного текста.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЯТОМУ ТОМУ.

В настоящий том входят произведения 1856–1859 годов.

Кроме известных произведений: «Из записок князя Д. Нехлюдова» («Люцерн»), «Альберт», «Три смерти» и «Семейное счастье», печатаемых по журнальным текстам, как единственным авторизованным, в этот том включены варианты к трем последним вещам, извлеченные из черновых рукописей Толстого, а также четыре произведения, опубликованные уже после его смерти: «Сказка о том, как другая девочка Варинька скоро выросла большая», «Как умирают Русские солдаты» («Тревога»), «Лето в деревне» и «Речь в Обществе Любителей

Российской словесности».

Впервые печатаются в настоящем томе неоконченные и неотделанные произведения и наброски художественного содержания: «Начало фантастического рассказа», «Отъезжее поле», «Записки мужа», «Отрывок без заглавия», «Светлое Христово воскресенье»; писания, относящиеся к проекту освобождения яснополянских крестьян, в количестве семи номеров; один набросок публицистического содержания: «Записка о дворянстве»; заметка юридического содержания: «О русском военно-уголовном законодательстве» и, наконец, «Отрывок дневника 1857 года» (Путевые записки по Швейцарии) и «Проект по лесному хозяйству».

Произведения, появившиеся в печати при жизни Толстого, размещены в порядке их опубликования, остальные – в порядке их написания, поскольку они могут быть хронологически приурочены к определенному моменту.

Н. М. Мендельсон.

В. Ф. Саводник.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПЯТОМУ ТОМУ.

Тексты произведений, печатавшихся при жизни Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Л. Толстого и лиц его круга (брычка, пожалуста).

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Л. Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, дополняются в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это «ударение» не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся и это оговаривается в сноске.

На месте слов, неудобных в печати, ставится в двойных прямых скобках цифра, обозначающая число пропущенных редактором слов: [[1]].

Неполно написанные конечные буквы (как напр., крючок вниз, вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к-ый», вместо который, и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый, «т[акъ] к[акъ]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?].

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-накрест и т. п., воспроизводятся не в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках; но в отдельных случаях допускается воспроизведение зачеркнутых слов в ломаных < > скобках в тексте, а не в сноске.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом. Дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, тире, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

При воспроизведении «многоточий» Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: Абзац редактора.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Обозначения: *, **, ***, ****, в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Л. Толстого, *** – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и **** – что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.

Иллюстрации

Фототипия с фотографического портрета Толстого, снятого в Брюсселе в 1861 г. (размер подлинника) между X и 1 стр.

1

Над словами: землей Богъ знаетъ зачеркнуто: никто не думаль тамъ.
Над словом: отъ зачеркнуто: подъ землей.

2

«Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903». Издание Общества Толстовского музея (Спб. 1911), стр. 95.

3

Там же, стр. 101–102.

4

[«Скотина»,]

5

Зачеркнуто: и вѣтеръ

6

В подлиннике описка: деревни.